

Глава 8

Пытаюсь жить

Цензурные тупики.
Разнообразный Георгий Владимов.
Развод по-советски. «В почтовом вагоне».
Продолжение поисков будущего

Более всего цензура донимала меня в беллетристике. После «школьной повести» (по мотивам истории моего конфликта в школе рабочей молодежи), которую я нигде не смог опубликовать даже в «оттепельное» время, я стал пытаться обходить острые темы. Написал, к примеру, большое эссе о спорте, о вреде существования профессионального спорта под видом любительского. Эссе я отнес в журнал «Молодая гвардия» (в те годы еще вполне приличный), там его приняли на ура: «Вы наш спортивный Дудинцев!». Но об эссе прознали в ЦК комсомола, и оттуда последовал грозный рык: «Не смей печатать! Не смей компрометировать наш спорт!». «Оттепель» в это время уже начали замораживать.

Тогда я написал уж совсем аполитичный рассказ о велогонщиках «Под солнцем». Принес его в журнал «Москва», «оттепельную» редакцию которого тогда возглавляли Атаров и Анна Берзер. Напомню, перейдя потом в «Новый мир», она редактировала Юрия Домбровского, Александра Солженицына и других выдающихся писателей того времени.

Берзер прочла мой рассказ и сказала очень лаконично, в своей манере: «Я впервые читаю спортивный рассказ, который не о спорте, а о жизни! И поэтому наш журнал его не сможет взять, и я уверена, что он не пройдет нигде».

И она оказалась права: я предлагал его в различные журналы, в том числе и в «Новый мир» Георгию Владимову, и нигде его не взяли. Хотя везде хвалили. «Старик, — сказал мне не без зависти Владимов, — твой рассказ — просто «Старик и море» на шоссе!».

Кто-то посоветовал мне «поступиться принципами» и переделать рассказ — положить в основу сюжета какую-нибудь «проходимую» коллизию. Общее полотно рассказа, мол, настолько впечатляющее, что и после оказывания сюжета он сохранит свою привлекательность. И я последовал совету. Очень хотелось мне проверить, как же я на самом деле пишу? Я переделал рассказ и принес его опять в «Москву» (Берзер тогда уже перешла в «Новый мир»), и он пошел как нож в масло! Был немедленно напечатан (1959, № 8), о нем стали писать, говорить на конференциях, он был включен в сборник рассказов в издательстве «Совет-

ская Россия» и даже продан в ГДР, где был издан массовым тиражом. Однако мне этот рассказ (с новым казенным сюжетом) стал противен. И больше никогда я такими делами заниматься уже не мог.

Написал пьесу, о любви. И опять — комплименты и вздохи: «Уж слишком она демонстративно аполитична!». И так и этак плохо.

Тогда я на время ушел от беллетристики и стал писать об аэрологии, о воздухоплавании. Позже я познакомился с энтузиастами дирижаблестроения — инженером Федором Асбергом и радистом Теодором Кренкелем. Это были замечательные люди, умные, мужественные, анти-советские! В начале 30-х годов они в качестве советских представителей летали на знаменитом немецком дирижабле «Цепелин» над советским Севером, а потом участвовали и в пер-

вом кругосветном перелете этого дирижабля, трасса которого тоже пролегла через Советский Союз.

Впоследствии Кренкель зимовал на Северном полюсе в экспедиции Папанина в качестве радиста, получил всемирную известность и золотую звезду Героя Советского Союза. Это был двухметровый атлет с добродушным, задубелым лицом полярника. В период нашего с ним знакомства он был председателем Всесоюзного общества радиолюбителей и рассказывал мне, какие немыслимые препятствия чинит им КГБ, как боится радиолюбителей. «Кроме всего прочего, они идиоты! Притом — злобные!» — объяснял мне Кренкель. Мне он, видимо, доверял, да и за себя не боялся. С грустью я вспоминаю о нем: неотразимо обаятелен был этот человек. Он был из тех людей, с которыми хотелось бы дружить всю жизнь.

Вспоминается и такой анекдот тех времен. Асберг и Кренкель познакомили меня с махолетчиками, энтузиастами создания махолетов — индивидуальных крыльев, приводимых в движение находящимся в ранце мотором. Они пожаловались мне, что милиция и органы чинят им препятствия. По их наводке я пошел к какому-то высокому милиционеру, генералу. И он, объясняя свое негативное отношение к «махолетчикам», на полном серьезе сказал мне, что если этим людям удастся создать махолет, то ведь им смогут пользоваться и шпионы, и жулики — смогут влетать в окна, похищать документы или ценности. «Что же, нам и на милиционеров прикажете надевать крылья? У нас и на земле забот хватает!» — возмутился генерал.

Я с трудом сдержал смех, представляя себе «мильтонов» с крыльями. («Мильтонами» в те времена называли милиционеров.)

Кренкель и Асберг познакомили меня и с увлекательной проблематикой дирижаблестроения, и я стал серьезно писать на эту тему.

Дирижабли могли быть исключительно полезны для освоения советского Севера, Сибири и Дальнего Востока, и главное, могли быть полезны людям, живущим и работающим в тех суровых областях. С помощью новых материалов (с гелием вместо взрывоопасного водорода), новых экономичных и мощных моторов дирижабли могли стать предельно безопасным, дешевым, всепогодным и незаменимым многоцелевым транспортом в труднодоступных регионах. На дирижаблях можно, например, оборудовать операционную и проводить операции прямо в воздухе, так как никакой тряски или вибрации на дирижаблях не бывает, даже в бурю! Дирижабли способны существенно облегчить жизнь и труд геологоразведчиков, которые могли бы жить на них в комфортабельных условиях и иметь в «воздухе» лаборатории для анализа породы и минералов, не откладывая эту работу на зиму. Дирижабли способны перевозить тяжелые конструкции и служить кранами для их монтажа, не отбрасывая вниз, как вертолеты, ураганных струй воздуха (с силой, равной весу конструкций и вертолета). И для многих других целей пригодны дирижабли, включая, между прочим, и комфортный туризм. Но беда дирижаблей была в том, что ведущим западным странам они были не очень нужны — обширных северных и сибирских территорий ни у кого не было, и дирижабли там (с 37-го года, после гибели дирижабля «Гинденбург») почти не строили, так что Советскому Союзу тут некого было догонять, а благополучие людей советских руководителей не интересовало. В результате и в СССР дирижабли не строились. Но во многих городах трудились группы инженеров-энтузиастов, разрабатывая все новые конструкции и изыскивая новые области применения этих аппаратов. Наиболее продвинутым среди них было бюро дирижаблестроения, которое держал у себя на предприятии (в Киеве) на полуправильном положении генеральный авиаконструктор

Олег Антонов, создатель знаменитых «Антеев». Я познакомился с ним и с его дирижаблестроителями.

Особым сюрпризом для меня явилось то обстоятельство, что Антонов, человек очень широких взглядов, оказался сторонником собственности работников на средства производства. Он даже написал по этому поводу интересную книгу «Для всех и для себя» и вручил ее лично Хрущеву. Но, разумеется, безрезультатно.

Книга эта начиналась с яркого эпизода. В цеху к Антонову подходит новый работник, перешедший к нему из автомобильного производства, и рассказывает, что когда он поступил на антоновский завод, то решил работать добросовестнее, чем прежде: «Самолет все-таки не автомобиль, испортится — из кабины не вылезешь!». Но прошло несколько месяцев, и жена рабочего спрашивает его: «Ты куда это тратишь деньги? Любовницу завел? Все твои товарищи, я узнала, много больше тебя зарабатывают».

— Что же мне теперь делать? — спросил рабочий Антонова. — Начать работать, как все? Гнать план?

Я несколько раз встречался с Антоновым, и мы быстро нашли с ним общий язык, обсуждали и наши взгляды на трудовую собственность, дал он мне очень интересное интервью и о возможностях новых дирижаблей.

О дирижаблях я писал почти во всех центральных газетах, включая «Известия», «Литературную газету», «Комсомольскую правду». И вдруг однажды в «Известиях» появляется письмо за подписью двух замминистров, авиационной промышленности и гражданского авиационного флота. В этом письме «поднимался вопрос» о «безответственных, вредных, дезинформирующих общественность статьях некоего Вадима Белоцерковского» по поводу дирижаблей и их возможного применения. Аргументировали они свои обвинения в советском стиле: с тупой демагогией, передержками и прямой ложью. Они, как я понял, испугались: вдруг правительство начнет финансировать строительство дирижаблей за счет авиационной промышленности! Даже с Антоновым после этого состоялась предупредительная беседа в ЦК КПСС, и ему пришлось распустить свою группу дирижаблестроителей. Я попытался ответить замминистрам, но мне сказали — баста! И посоветовали больше ничего не писать о дирижаблях. Даже с такой, казалось бы, далекой от политики научно-хозяйственной темой я попал в конце концов в цензурный тупик.

В конце 50-х я впервые попытался устроиться на штатную работу в какой-нибудь журнал или газету. И не смог. То свободных штатных единиц якобы не было, то редакторов смущало, что у меня нет, мол, литературного образования! Но мне все это было уже хорошо знакомо.

Однако командировки как внештатному сотруднику мне охотно предоставляли. Но из-за того что цензура часто стопорила мои материалы, зарабатывал я очень мало, в среднем не более 100 рублей в месяц, а так как надо было еще и сына кормить-растить, то заработков моих не хватало и приходилось принимать помощь от родителей.

Я уже говорил, что труднее всего мне было преодолевать цензуру в беллетристике. Я читал современных советских авторов, самых лучших, самых вроде бы острых, и видел, что они пишут все-таки полуправду, подменяют реальные проблемы вымышленными, неострыми или второстепенными, вроде того что я сделал со своим рассказом «Под солнцем».

Постепенно я понял, что большинство критически мыслящих писателей были недовольны режимом и советской жизнью, в то время как я то и другое ненавидел, режим считал изувер-

ским, потенциально апокалипсическим. Я видел, что многие «критические» писатели не хотят замечать всех ужасов жизни, чтобы легче было писать вроде бы критичные, но все-таки проходимые вещи.

Интересная коллизия в этой связи случилась у меня с Георгием Владимовым. Как-то, когда Хрущев вроде бы стал опять немного раскручивать цензурные гайки, я рискнул написать большую статью «Героизм и техника безопасности», в которой приводил яркие случаи, свидетелем которых я был во время моих журналистских поездок. Это были истории о том, как начальство, пренебрегая техникой безопасности, бросало людей на рискованные работы, чтобы исправить последствия своего головоупияства и недобросовестности или угодить высшему руководству. И когда люди погибали или становились калеками, начальство с помощью услужливых журналистов объявляло их героями.

Я принес эту статью Владимову в «Новый мир», статью долго мурыжили, но печатать не стали, не приняли ее и в других местах. Прошло какое-то время, и Владимов, с которым мы тогда тесно дружили, дает мне читать рукопись своей повести «Большая руда».

— Эту повестушку, старик, — пояснил он, — я написал по мотивам, что ли, твоей статьи о героизме и технике безопасности.

Я прочел повесть. Написана она была замечательно, никто, на мой взгляд, не обладал таким слухом на современный городской язык, как Владимов, но сюжет повести не имел никакого отношения к советской жизни. В жизни начальство толкало людей на рискованные «подвиги», чтобы себя прикрыть. А у Жоры — наоборот: начальство не советует его герою рисковать. (Если бы не был нужен начальству его «подвиг», запретили бы герою выеживаться — и точка!)

И ради чего герой рискует? Оказывается, ради материального благополучия. «Да где же это ты видел в Советском Союзе, — допрашивал я Владимова, — чтобы рабочему за счет напряженного труда можно было разбогатеть?» Ведь в советской жизни есть для этого только один путь: напряженно трудиться над вылизыванием определенных мест у начальства, чтобы оно назначило тебя «передовиком», «героем труда» и т. д. и т. п. И в партию, конечно, надо вступать, и по общественной работе шуметь, и на товарищей постукивать... Методы всем известные! Я уж не говорю о том, что и герой Владимова был не из советской жизни, а от Хемингуэя или из «Адских водителей». В то время этот, кажется, английский фильм был очень популярен в Москве.

Что сказал Владимов по поводу перевернутого сюжета, я не помню, но помню, что он ответил по поводу нетипичности его героя: он, Владимов, любит, мол, крепких индивидуалистов, «людей с сильной шеей», как он это называл, они, мол, полезны для общества и т. п. «Правда, — пожаловался Жора, — Вика Некрасов стал вдруг кричать на меня, что мой человек с сильной шеей — это фашизм, но я так не считаю. Фашизм — это когда толпа, колонна...»

— Но фашистская толпа поклоняется и подчиняется «сильной шее»! — возражал я. Много позже, когда Владимов оказался в эмиграции в рядах НТС и русских нацпатриотов, я вспомнил о словах Некрасова.

Не менее расчетливо, на мой взгляд, была сработана и следующая повесть Владимова «Три минуты молчания». Фон был вроде бы правдивым и ярким, а сюжет — совсем советским...

Примерно в это время Владимов однажды где-то врезался на своем «москвиче» в обелиск с лозунгом: «Слава КПСС!», попал в больницу. И я как-то потом пошутил, что вот в прозе ему удается избегать таких столкновений, а на шоссе — нет! А лучше бы наоборот!

Но Владимов был сложным и неожиданным человеком. В тот же период, когда он был занят борьбой за место под солнцем в советской литературе и кинематографе, он однажды потряс меня весьма странным предложением. Как-то он пригласил меня прийти к нему в «Новый мир» для важного разговора, причем обязательно вечером, после окончания рабочего дня. Я пришел. В редакции уже никого не было. Жора восседал в своем кабинете очень торжественный и с места в карьер заговорил о том, что он приступает к созданию антисоветской подпольной партии и приглашает меня вступить в нее. Цель партии — свержение режима. Ни больше, ни меньше!

Я невольно кинул взгляд на стены, но Жора не обратил на это внимания. Я стал осторожно, подбирая слова, говорить, что сомневаюсь в реальности этой затеи, так как люди будут бояться, что партия эта вскорости станет известна органам.

— Ну что ж, — сказал Жора, — как хочешь. Но я уверен, что наплыв в партию будет таким большим, что тем, которые потом захотят присоединиться, уже не будет места. Подпольная партия не может быть безразмерной.

Первая мысль у меня была, конечно, что это чистая и неумная провокация. Предлагать такое, да в стенах редакции нелояльного властям журнала, наверняка утыканных «жучками»! Но потом я вспомнил, что Жора уже предлагал мне строить вертолет, потом аквариум-бассейн, потом черный ящик для сна с полной звуко- и светоизоляцией, регулируемой температурой и т. д., чтобы можно было отсыпаться за два-три часа и экономить время для литературной работы. И я подумал, что, скорее всего, он просто теряет порой контроль над своими фантазиями. Однако с тех пор мне все-таки стало как-то неуютно общаться с Владимовым. К тому же он вскоре второй раз женился, и его новая жена, Наталия Кузнецова, стала руководить его встречами, отдавая предпочтение высокопоставленным людям. В этом она была типичная «жена писателя». Короче, наше общение сошло к минимуму.

Между тем я все отчетливее осознавал, что писательская деятельность в советских условиях для меня, видимо, невозможна. И, может быть, отчасти из-за этого все больше времени посвящал размышлениям о теории синтеза социализма и капитализма.

Как-то я вновь попытался устроиться на постоянную работу, точнее, мне ее предложили — в «Известиях». Предложил один из заместителей главного редактора, с которым я сотрудничал и которому моя работа нравилась. Я уж не помню, при Аджубее это было или после. На предложение замредактора я, усмехнувшись, согласился. Чем черт не шутит! Заполнил необходимую анкету. Через какое-то время редактор вызывает меня и вздыхает: в отделе кадров ему сказали, что сейчас, оказывается, нет свободных штатных единиц. Я ответил, что ожидал этого.

— Ты, может быть, думаешь, что это из-за пятого пункта? — искренне (как будто) удивился редактор. — Но это ты напрасно! У нас работает человек шесть евреев. Вот: Иванов, Сидоров, Скворцов, Белов, — погибает он пальцы. — Ты чего смеешься? Я правду говорю, — не понимает он моего веселья.

Пришлось объяснить, что очень уж забавные фамилии у этих евреев, хоть бы один Рабинович затесался!

В начале 60-х рухнул мой первый брак. Виноват в разводе был я: сошелся с другой женщиной, на которой потом женился. Но развод в советских условиях — вещь «специальная». Жи-

ли мы у моих родителей, в Лаврушинском — пришлось разменивать квартиру, мучить стариков. Жене с сыном (ему было тогда шесть лет) выменяли двухкомнатную квартиру.

В то время в разгаре была хрущевская кампания борьбы с тунеядством. Для молодых читателей напомним, что это такое. Поначалу это была высылка-ссылка под надзор милиции из Москвы, Ленинграда и ряда других крупнейших городов бомжей, людей без прописки и нигде не работающих, т. е. реализация «христианско»-сталинского принципа «не работающий да не ест!». И, как водится в нашей стране, кампания эта быстро приняла характер «бессмысленный и беспощадный». Ссылать начали не числящихся на работе матерей-одиночек, незарегистрированных кустарей и т. п. Апогеем этой облавы стал суд над молодым поэтом-«тунеядцем» Иосифом Бродским, будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе. Несмотря на защиту ряда деятелей культуры, в том числе и Анны Ахматовой, Бродский был осужден и сослан на Север. Он, видите ли, нигде не числился на службе, членом творческих союзов не состоял и имел «подозрительно» маленькие заработки.

И вот мои родители получили письмо от моей жены, в котором она сообщала, что позаботится о том, чтобы их сын (т. е. я) ввиду его тунеядства — нигде не служит, в Союзе писателей не состоит и заработки имеет копеечные! — последовал, подобно Бродскому, в места не столь отдаленные. (Может быть, было написано: «вслед за Бродским» — точно не помню.)

И попыталась «позаботиться». В суд, на первую, примирительную стадию (была такая!) жена пришла со своей подругой по работе, секретарем директора школы. (Той самой Черкасовой! Жена продолжала работать в ее школе.) Но судья, молодая интеллигентная женщина, попала удивительная. Спросила жену, зачем она пришла с посторонним человеком. Жена ответила, что это свидетель, который может подтвердить, что я являюсь тунеядцем. Я внутренне вздрогнул и увидел, как судья опустила глаза в стол, окаменела лицом. Помолчал немного, вдруг жестко, даже грубо сказала:

— Это к делу не относится! Здесь примирительная стадия. Вашей свидетельнице здесь делать нечего! Кина не будет! — эти слова я точно запомнил.

И, видя, что жена медлит, сказала еще жестче:

— Я вам повторяю: посторонним здесь делать нечего! Никакие вопросы, кроме возможности примирения, здесь обсуждаться не будут!

И секретарше пришлось выйти из судейской комнаты.

После такого холодного душа на суд второй инстанции жена даже не явилась, прислала бумагу, что против развода не возражает — и все. Думаю, что свою роль сыграли интеллигентность и молодость судьи. Жена увидела в ней человека ее же круга, и стыдно, наверное, стало. А может быть, и сама одумалась: я все-таки был отцом ее сына! И любил его, и он ко мне был привязан. И хоть мои заработки были действительно невелики, но мои родители помогали мне выплачивать приличную сумму алиментов. Окажись я в ссылке — не было бы ни алиментов, ни отца у сына.

А судья та осталась в моей памяти на всю жизнь. Ведь она очень рисковала по тем временам: при свидетельнице выражала пренебрежение к политике партии — к борьбе с тунеядством. Могла вылететь с работы как пробка! А поддержки она инициативу жены, мог бы я «улететь»!

Ну а что касается моей бывшей жены, то ее акция была для меня полной неожиданностью. Мы с ней все годы довольно хорошо жили, без крупных ссор, она мужественно перенесла черный 52-й год, разделяла мои взгляды. Наверное, и в цивилизованных странах люди могут ино-

гда так же остро реагировать в подобных ситуациях, но там нет возможности использовать для мести политические кампании.

В тот период я решился написать повесть о случайно сложившихся в советских условиях оазисах самоуправления в почтовых вагонах. В железнодорожной школе рабочей молодежи среди моих учеников были разъездные сортировщики почты, которые мне рассказывали много необычайного о человеческой атмосфере в этих вагонах.

Я взял в редакции журнала «Москва» командировку и поехал в качестве ученика в почтовых вагонах по маршрутам Москва — Тбилиси и Москва — Ташкент.

В этих вагонах я встретил действительно удивительную обстановку. Впервые увидел рабочие коллективы без начальства, без партийных церберов, норм выработки, борьбы за их «перевыполнение» и всей со-

путствующей мерзости: сверху — хамства, жестокости и самодурства, снизу — подхалимажа, интриг и прочая и прочая. В почтовых вагонах работали вольные артели, царила атмосфера взаимопомощи, взаимной приязни, семейных нравов. Начальники в почтовых вагонах формально имелись, но они были такими же сортировщиками, как и все. Если начальник был старше, опытнее, был добрым и умным, обладал чувством юмора — очень важное качество в условиях многодневной совместной работы и жизни, — то его как бы признавали неформальным лидером.

— Неужели не попадают в бригадах какие-нибудь прохвосты? — спросил я как-то сортировщиков.

— Попадают, конечно, — объяснили мне, — но долго не удерживаются, пару-тройку рейсов проездают и — смываются! Теснит их и бригада, и тяжелая работа, и невозможность сачковать.

Но бездушный режим всячески отравлял существование и этим людям. Вагоны нещадно заваливали работой, не увеличивая численность бригад. Тут очень характерна эволюция эксплуатации и жестокости. С царских и до сталинских времен в почтовых вагонах работали бригады в среднем по семь человек, и только мужчины, и занимались они исключительно сортировкой писем. Для приема и сдачи посылок ехала бригада грузчиков в три-четыре человека. И работали все поэтапно, сутками, бригады сменялись в пути. При этом и почты, и посылки было «в разы» меньше. С 30-х сталинских годов началось: грузчиков убирают из вагонов, заменяя их станционными бригадами, допускают работать в вагонах женщин, и вскоре — убирают почтовых грузчиков на станциях! Постепенно сокращают численность бригад и вводят сквозные бригады на весь путь, туда и обратно. Это чтобы исключить возможность пропажи посылок во время смены бригад. По десять-двадцать суток приходится работать сортировщикам в зависимости от протяженности маршрута. (Средняя продолжительность шесть-семь суток.) Страна-то огромная. Постепенно в бригадах начинают преобладать женщины: для мужчин малы заработки. Но чисто женские бригады не допускаются — предполагается, что без мужчин женщинам легче договариваться о хищении посылок. Хотя бы один мужчина, пусть старик или инвалид, должен быть в бригаде.

Параноидальное сталинское недоверие к людям и стремление полностью избежать риска, в данном случае хищений, пронизывает все отношение властей к работе почтовых бригад. Мужу и жене запрещают работать в одной бригаде: им, считает начальство, легко сговориться о краже посылок. Наглухо задраиваются окна, чтобы ценные письма не передавались через них

наружу, плюс еще и решетки водружаются на окнах, как в арестантских вагонах. Но все эти предохранительные меры, как мне объясняли почтовики, при желании очень легко обойти.

Между тем из-за слабых вентиляторов (экономия!) температура в вагонах летом на южных линиях доходит до 40° и выше. Из-за плохого качества конвертной бумаги при сортировке образуется очень много бумажной пыли, и в результате до 40% почтовиков заболевают туберкулезом легких.

Уже в хрущевские годы в почтовые вагоны стали грузить тяжеловесные посылки — до 40 килограммов, которые раньше шли в багажные вагоны. В итоге на больших станциях приходится перекидывать примерно около трех тонн посылок за 20–30 минут. А в бригадах, не забудем, стали преобладать женщины! По своей основной работе им приходится сортировать около двух тысяч писем в час, плюс огромное количество бюрократической писанины для отчетности. На сон у разъездных сортировщиков стало оставаться по четыре-пять часов в сутки, да и те вразбивку.

И несмотря на все это люди не хотели уходить из вагонов: все тяготы компенсировала атмосфера, да еще возможность иметь отгулы.

В журнале «Москва» сначала испугались печатать повесть, но положение спас Борис Слуцкий, который был связан тогда с редакцией. Кто-то передал ему рукопись повести, она ему очень понравилась, и дело было решено. «Эта повесть — ваша большая удача!» — сказал он мне потом.

Слуцкий в то время, благодаря своему свежему и смелому таланту, атакам сталинистов против него и статьям Эренбурга в его защиту, приобрел большую известность и, следовательно, влияние. Однако несмотря на высокий отзыв Слуцкого, мне пришлось в редакции воевать почти за каждое острое слово. Особенно поразителен был бой, шедший полных два дня, за фразу: «Рабочие все-таки остаются рабочими!». В контексте повести ее смысл состоял в том, что рабочих не удалось разложить или «переродить» и они несут в себе потенциальную опасность для режима. (Теперь признаю, что ошибался, преувеличивал моральную стабильность рабочих и приуменьшал разлагающую силу режима.)

Тогда спор о той фразе дошел до главного редактора, и мне был предъявлен ультиматум: или фраза, или повесть! Пришлось сдаться. Но вслед за «Москвой» повесть решилось печатать издательство «Советский писатель», и туда я эту фразу, конечно, опять всобачил. В издательствах цензура была слабее: книжные тиражи были, как правило, меньше журнальных.

После выхода повести в свет — я назвал ее без затей: «В почтовом вагоне» — все шло поначалу, казалось бы, хорошо. Высокую оценку повести дали Илья Эренбург, Юрий Домбровский. Особенно тронул меня Иосиф Юзовский, один из ведущих литературоведов и эссеистов того времени. В сталинскую кампанию против «критиков-космополитов» он был объявлен главой этих «врагов русской культуры».

Юзовский, с которым я до того не был знаком, позвонил мне и пригласил к себе домой, чтобы поговорить о повести. Он тогда уже был тяжело болен и со мной беседовал, лежа в кровати. (Примерно через год он умер.) Юзовский, говоря о повести, советовал мне продолжать работать в том же духе, не обращая внимания на снобов.

— Когда я знакомился с литературой «молодых», — рассказывал Юзовский, — с Аксеновым, Казаковым, Гладилиным и т. д., я был поначалу очень рад. Появились, наконец-то, писатели, которые отбросили старый, казенный стиль «соцреализма». Но со временем в горле у

меня начало першить: апельсины, сардины, анчоусы — какая-то закусочная литература. Мне стало не хватать добротного черного хлеба. И ваша повесть впервые дала мне этот хлеб.

Юзовский посоветовал мне в то же время освободиться от влияния публицистики, которое было заметно в повести, быть еще раскованнее, увереннее. И главное, предупреждал, что меня ждет очень тяжелая жизнь в литературе. Советовал готовиться к этому и ни в коем случае не отчаиваться в случае «неожиданных поворотов»: «Может быть, вы еще доживете до лучших времен!».

Незадолго до смерти Юзовский опубликовал в «Новом мире» очень интересное эссе «Польские тетради», в котором среди прочего дал глубокий анализ психологии тоталитаризма и шире — всяческого аморализма. Анализ этот он подытожил в гениальной по емкости формуле: «Все, что для людей возможно, рано или поздно может сделаться для них необходимым». Возможно, например, обманывать, красть, убивать, бросать людей в газовые камеры или «психушки» из-за того, что у них иная кровь или иные взгляды, — и рано или поздно это может оказаться необходимым.

Я взял эту формулу на вооружение. В России, к сожалению, как было, так и осталось возможным слишком многое. Я даже не знаю, есть ли что — невозможное?

Здесь важно понимать, что когда людям что-либо аморальное представляется возможным, то им всегда кажется (или они делают вид), что другого (нравственного, гуманного) пути нет. В то время как такой путь всегда имеется, если цель, конечно, реальная, но его часто труднее найти и он может оказаться более долгим и трудным.

Замечательно встретили мою повесть рядовые работники почты и железнодорожники. Меня приглашали на читательские конференции в клубы и библиотеки этих ведомств в Москве, Ленинграде, Киеве.

Ни один рабочий ни на одной конференции не высказался против повести. А выступало множество людей, конференции проходили бурно. При этом приводились иногда такие страшные и неведомые мне факты, что хоть новую повесть пиши. Но «руководящие кадры», как правило, критиковали повесть. «Классовый» контраст был поразительным. Часто дискуссии между начальством и рядовыми работниками уходили далеко от моей повести и превращались в сражения по поводу условий труда.

Эти конференции, видимо, сильно напугали кого-то наверху. Когда в редакцию журнала поступило приглашение на очередную читательскую конференцию, в данном случае из Ленинграда, мне вдруг позвонил заместитель главного редактора журнала Цигулев (в прошлом полковник, работник политуправления Советской армии) и сообщил, что редакция уже послала ответ — с просьбой отложить конференцию на две недели.

— Понимаешь, — объяснил Цигулев, — мы хотим, чтобы с тобой поехал Лев Овалов (второй заместитель главного редактора, уже писатель, не полковник) и выступил там с рекламой журнала. Ты же, надеюсь, не против? Но Овалов сейчас занят и освободится только через две недели — тогда вместе и поедете.

Примерно через три недели из Ленинграда пришло напоминание. И Цигулев вновь просит отложить конференцию. На этот раз ссылается на мою болезнь! А мне говорит, что Овалов еще не освободился.

Спустя еще какое-то время Цигулев вызывает меня к себе и объявляет, что теперь я наконец-то могу ехать в Ленинград. И объясняет, в чем была загвоздка. Оказывается, из ряда ми-

нистерств, затронутых мною в повести, в адрес ЦК и КГБ пришли письма с требованием привлечь меня к ответственности за очернение советской действительности. Цигулев дал мне прочесть эти письма. В КГБ, кроме того, поступило письмо от руководства Спецсвязи, в котором утверждалось, что я, во-первых, оклеветал в повести их ведомство, выведя отрицательный образ спецсвязиста — спекулянта и циника, а во-вторых, разгласил на весь мир факт существования в СССР спецсвязи, описал, где и как она работает, т. е. выдал военную тайну.

Доложено было, как рассказал Цигулев, самому тогдашнему министру КГБ Семичастному. Тот отдал распоряжение своему заместителю, генералу Захарову (если я верно запомнил его фамилию), «специалисту по писателям», провести расследование. Тогда из КГБ и поступило в «Москву» указание — не выпускать меня из города, пока идет предварительное расследование.

Параллельно расследование проводилось и в ЦК отделом литературы. Итог обоих расследований: меня решили не трогать (время было все же относительно либеральное — конец хрущевской эпохи), а двух цензоров, давших добро на публикацию повести, сняли с работы!

Однако тяжелейший удар был нанесен и мне. Цигулев показал мне статью-отзыв о повести, направленную в «Правду» и подписанную группой разгневанных «знатных» трудящихся. Обвиняли они меня, кроме клеветы на советскую жизнь и строй, и в пренебрежении к советским трудящимся, и одновременно в «троцкистском заигрывании с рабочими». Цигулев сообщил, что редакция «Правды» отказалась публиковать эту статью: «Хватит делать рекламу критиканам!» — так объяснили отказ в «Правде».

Там правильно решили. Статья была погромная, и она наверняка вызвала бы другие подобные же статьи в других органах прессы, и очередной «критикан» получил бы всесоюзную известность.

А так я без особого шума попал в качестве неблагонадежного автора в «черный список» КГБ и ЦК (это стало ясно в 68-м году после Пражской весны). В список попал и рекламы не получил!

Почему Цигулев мне все это рассказал? Разгадка несложная. Лично ко мне он относился с симпатией, но сделал это, конечно же, не из добрых побуждений, а скорее всего по указанию из КГБ — чтобы припугнуть на будущее.

До решения моего дела в КГБ и ЦК (в том числе и решения не создавать мне рекламы) несколько положительных рецензий все же успели появиться в прессе, но были они слишком осторожными и потому сероватыми.

Затем произошли еще два примечательных события. Первое — это читательская конференция по моей повести в клубе спецсвязистов. Цель ее была, очевидно, та же, что и у Цигулева — припугнуть. И испугаться было чего: я увидел перед собой лица отставных палачей и вертухаев бериевской гвардии, составлявших тогда основные кадры спецсвязи. Люди эти смотрели на меня с тяжелой неприязнью: попался бы ты нам раньше! Так, наверное, волки смотрят на людей или собак, попав в клетку.

— Вы знаете, — любезно объяснил мне ведущий собрание чиновник, — это хорошо, что прошло уже много времени после опубликования повести. Если бы конференция состоялась раньше, нам пришлось бы подумать об охране для вас: так наши люди были возмущены вашей повестью.

Конференция была хорошо подготовлена. Все выступавшие, читая по бумажкам, единодушно клеймили повесть как клеветническую и антисоветскую. В воздухе густо роились обо-

роты сталинских времен типа: «автор черпает материал в помойных ямах», «чужд советской жизни» и т. д. Несколько раз прозвучало и словцо «отщепенец».

Не обошлось и без конфуза. В своем выступлении я упомянул, что одним из первых указов ленинского правительства был указ, запрещающий труд женщин с тяжестями, превышающими три килограмма. Сказал я это к тому, что женщинам в почтовых вагонах приходится иметь дело с посылками по 40 килограммов, а спецсвязисты им не помогали. Это привело к тому, что какой-то маразматик-пенсионер расчувствовался и заявил, что, мол, все-таки зря они так напали на товарища. «Это все же не какой-то там Евтушенко, он Ленина цитирует!»

Евтушенко они, видимо, ненавидели за его антисталинские стихи того времени, за «Бабий яр» и пр. Да и незадолго до того прогремел скандал с автобиографией Евтушенко, опубликованной во Франции.

Уходил я с этой конференции и не ведал, что через 10—12 лет мне вновь придется увидеть подобные лица и такую же тяжелую неприязнь в глазах — но уже со стороны антикоммунистов, в эмиграции.

Примерно через год после выхода повести неожиданно закончилась эра Хрущева. В октябре 1964 года он был с позором свергнут с престола. По Москве ходили красочные рассказы о том, как это произошло. Мало кто жалел Хрущева, разве только люди, спасенные им от гибели в сталинских лагерях. Отношение к нему в народе в то время где-то напоминает отношение к Горбачеву в конце его правления.

Запомнилась частушка:

Всю Европу удивили,
Показали простоту,
Десять лет лизали жопу —
Оказалось, что не ту!

Но наш народ не унывает,
Бодро смотрит он вперед:
Знает, партия родная
Ему другую подберет!

И партия подобрала. Началась «застойная» эра Брежнева, пошли разговоры о новых реформах — и новые надежды обуяли интеллигенцию. Вот теперь-то уж все будет хорошо! Брежнев — трезвый, прагматичный политик, не какой-нибудь волюнтарист и паяц. (Не правда ли, знакомая реакция, если на место Хрущева подставить Ельцина, а на место Брежнева — Путина?)

Когда Хрущев на XX съезде рассказывал о преступлениях Сталина, в зале, как это жирным шрифтом отмечалось в газетах, раздавались «возгласы ужаса». А на XXIII съезде (после свержения Хрущева) те же самые люди встречали бурными аплодисментами славословия Брежнева в адрес «товарища Сталина», как это опять же жирным шрифтом подчеркивалось в газетах.

Во второй половине 60-х годов я все глубже втягивался в размышления о возможной структуре посткапиталистического и постсоциалистического строя.

С большой пользой для себя я познакомился тогда с книгой английского социолога Тони Клифа «Сталинистская Россия», выпущенной издательством «Иностранная литература» в закрытой серии для партийного руководства. Отец моей второй жены, «ответственный работник» от журналистики, получал такие книги.

Книга Тони Клифа расширила мои представления о НЭПе и о сталинизме как о «феодално-социалистической» контрреволюции. Тогда я впервые узнал, что к 1926—1927 годам новая экономическая политика Ленина подняла уровень жизни народа на высоту, какой он не достигал ни при царизме, ни при сталинизме.

В моих размышлениях о «синтезном» укладе я подошел в тот период к важнейшему, ключевому вопросу: как может осуществляться расширенное воспроизводство (создание новых предприятий) и перелив капитала из отрасли в отрасль при этом укладе? Я понял, что без решения этого вопроса, без возможности создания какого-то нового, некапиталистического механизма расширенного воспроизводства кооперативные предприятия не смогут развиваться и множиться.

Решение этого вопроса было самым трудоемким делом, так как здесь у меня не было никаких точек опоры, никаких подсказок из жизни. Порой я приходил в отчаяние, начинал думать, что никогда не смогу найти здесь ясного решения. Но в конце концов нашел. И я предлагаю сейчас вниманию читателя соответствующий раздел из моей рукописи «О самом главном», над которой, напомним, я потихоньку работал в то время.